

ЛЕССИНГ, ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

[...]

Объясняя жизнь, служа посредницею между чистою отвлеченною наукою и массою публики, доставляя человеку облагораживающее эстетическое наслаждение, пробуждая ум к деятельности, литература всегда имеет большее или меньшее влияние на развитие народов, всегда играет более или менее важную роль в историческом движении.

Но как ни очевидно ее участие в истории, надобно согласиться, что очень редки в жизни человечества те случаи, когда литература, в строгом смысле слова, как мы здесь ее употребляем, — то есть поэзия и ученые сочинения, писанные так, что читаются всею массою публики, а не одними специалистами, — редки те случаи, когда литература бывала в историческом движении главною, преобладающею силою. Почти всегда литературные влияния оттеснялись, в развитии народной жизни, на второй план другими, более пылкими чувствами или материальными практическими побуждениями: соперничеством племен и держав, религиею, политическими, юридическими и экономическими отношениями и т. д. Точно такова же была почти всегда и судьба науки. Но чрезвычайная важность науки в жизни и истории нисколько не теряется через это скромное положение: творя тихо и медленно, она творит все: создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям. Наука — чернорабочий, не играющий блистательной роли в обществе; но трудами этого чернорабочего живет все: и государство и семейство, и политика и промышленность; только оплодотворенные знанием стремления человека получают характер, совместный с общим и частным благом, силы человека производят полезное

действие. Литература не имеет этого права считаться первою виновницею всякого прогресса. Она не общая мать всех других деятельностей человека: она сама такая же специальная, частная деятельность, как и все остальное в человеческой жизни, кроме знания. Когда преобладание литературы в историческом движении не очевидно, то и на самом деле она не играет в нем главной роли. Ведь она не создает машин и инструментов, юридических понятий и нравственных отношений, государственной власти и промышленной деятельности, как создает их знание. Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знание — основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни. А до литературы нет историку дела, если она насильно не вынуждает у него признания своего исторического могущества; чем не овладеет она сама, в том никто не уступит ей доли.

И, надобно признаться, доля литературы в историческом процессе, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не так значительна, чтобы заслуживать особенного внимания. Действительно, литература почти всегда имела для развития человеческой жизни только второстепенное значение. Так, например, в древнем мире мы не замечаем ни одной эпохи, в которой историческое движение совершалось бы под преобладающим влиянием литературы. Несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обуславливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основною пружиною, не главною двигательницею их жизни. Римская жизнь развивалась военною и политическою борьбою и определением юридических отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Тассо, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы, вместе

взятых, — в Англии от литературы никогда не зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетною полемикою: собственно так называемая литература всегда имела только второстепенное влияние на историческое развитие этой страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов.

Исключений из этого обыкновенного порядка случаев, когда литература являлась действительно главною движательницею исторического развития, очень немного. Немецкая литература последней половины прошедшего и первых годов нынешнего века есть одно из самых важных между этими редкими явлениями. От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоевания западной Германии Наполеоном, законодательства Штейна в Пруссии и до распространения философии — явлений, которые овладевают последующим развитием немецкого народа), в течение пятидесяти лет, развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера определялась литературным движением. Участие всех остальных общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать незначительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не помогало в то время ее благотворному действию на судьбу немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и условия, от которых зависит жизнь, не благоприятствовали развитию народа. Литература одна вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями.

Каковы же были результаты этого пятидесятилетия?

В пятьдесят лет литература совершила для прочного блага немецкого народа более, нежели когда-нибудь было совершено всеми другими общественными силами для какого-нибудь народа во сто, в двести лет. Немецкая литература застала свой народ ничтожным, презренным от всех и презирающим себя, не имеющим даже никакого сознания о своем существовании, грубым до средневекового варварства в одних слоях, развращенным до нравов времен Регентства¹ в других слоях, ничего не желающим, ничего не надеющимся, безжизненным. Она дала ему сознание о национальном единстве, пробудила в нем чувство законности и честности, вложила в него энергические стремления, благородную уверенность в своих силах. В половине XVIII века немцы, во всех отношениях, были двумя века-

ми позади англичан и французов. В начале XIX века они во многих отношениях стояли уже выше всех народов. В половине XVIII века немецкий народ казался дряхлым, отжившим свой век, не имеющим будущности. В начале XIX века немцы явились народом, полным могучих сил, — народом, которому предстоит великая и счастливая будущность, — народом, готовым дать начала обновления для всех других европейских народов, если бы тот или другой из них нуждался в посторонней помощи для своего обновления. Все это совершила литература, наперекор бесчисленным препятствиям, без всякой посторонней помощи, и Шиллер имел полное право прославить немецкую поэзию за то, что ею возвеличен немецкий народ и никто не делит славы этой с немецкими писателями.

«Не было у нашей литературы ни Августов, ни Медичи, не ободрял и не поддерживал ее никто. С отрадною гордостью может сказать немец, что самому себе обязан он всем, в чем ныне честь его».

Kein Augustisch' Alter blühte,
Keines Medicäers Güte
Lächelte der deutschen Kunst;
Rühmend darf's der Deutsche sagen,
Höher darf das Herz ihm schlagen:
Selbst erschuf er sich den Werth! ²

Потому-то немецкая литература в период времени от половины прошлого до начала нынешнего века есть явление величайшей исторической важности, какой не имеют многие другие эпохи литературной деятельности у других народов, блиставшие писателями, которые по поэтическому гению были не ниже или даже и выше корифеев немецкой литературы. Суворов, конечно, был гениальнее Кутузова и Барклая-де-Толли; но дело, совершенное Барклаем и Кутузовым, бесконечно превышает своим историческим значением все дивные подвиги Суворова. Так, Мильтон и Данте, по поэтическому гению, быть может, выше Гёте и Шиллера; но в истории человечества Гёте и Шиллер занимают гораздо более значительное место. То — люди, высокие в своей специальности; это — двигатели исторического развития, имевшие прямое влияние на судьбу человечества, стоящие в ряду великих правителей наций, в одном ряду с Ришелье, Штейном, Робертом Пилем *.

* Гервинус, см. особенно предисловие к 1-му и 4-му томам издания 1853 года.

Если бы не вышел из моды старый и в сущности вовсе не бесполезный обычай объяснять в предисловиях к сочинениям, трактующим об ученых предметах, какую пользу приносит вообще знание, какую пользу в частности приносит знание того предмета, о котором трактуется в этом сочинении, и какую пользу в особенности принесет знание этого предмета тем читателям, для которых назначается это сочинение, — если бы не вышел из моды этот старый добрый обычай, мы должны были бы сказать что-нибудь о той особенной пользе, какую можем извлечь мы, русские, из знакомства с судьбами немецкой литературы времен Лессинга, Шиллера и Гёте.

Если бы не вышел также из моды другой старый добрый обычай — проводить параллели между сходными явлениями в истории различных народов, мы могли бы также отыскать некоторые занимательные аналогии между положением немецкой литературы того времени и положением некоторых других литератур в другие времена.

Наконец, если бы не вышли из моды «Разговоры в царстве мертвых»³, мы могли бы выставить Лессинга, разговаривающего, например, с Пушкиным и Гоголем в Елисейских полях: Лессинг расспрашивал бы Пушкина и Гоголя о русской литературе и, в свою очередь, сообщал бы им различные замечания о литературе вообще.

Но «Разговоры в царстве мертвых», исторические параллели вроде Плутарха, предисловия о пользе наук — все это решительно вышло из моды, и мы, не желая прослыть людьми, отставшими от века, отказываемся и от рассуждений о пользе изучения судьбы немецкой литературы для русской литературы, и от идеи вывести Лессинга, разговаривающего с Пушкиным и Гоголем, и повторим только, что важнейшею стороною немецкой литературы от Лессинга до Шиллера надобно считать влияние ее на историческую жизнь немецкого народа. Потому особенно интересно рассматривать ее не в отдельности от других сторон жизни, как чисто художественную деятельность, а в связи с общею историею народа, как силу, властвовавшую над умами, правами и жизненными стремлениями и приготовлявшую события, — словом, смотреть на нее не как на исключительное достояние искусства, а как на один из великих фазисов общей истории народа.

Лессинг был главным в первом поколении тех деятелей, которых историческая необходимость вызвала для оживления его родины. Он был отцом новой немецкой литературы. Он владычествовал над нею с диктаторским мо-

гуществом. Все значительнейшие из последующих немецких писателей, даже Шиллер, даже сам Гёте в лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его; оставались учениками его даже тогда, когда восставали против него или по одностороннему увлечению, как писатели «периода бурных стремлений» (Sturm und Drang-Periode), или по тайной зависти, как Гердер и Гёте. Ныне, когда литература в Германии утратила свою преобладающую силу над развитием общественной жизни и безусловное восхищение литературными знаменитостями прежнего времени уступило место другим симпатиям, величие Лессинга возрастает по мере того, как уменьшается авторитет писателей, сменивших его, и по мере того, как очевиднее убеждаются наши современники в односторонности понятий, которыми еще недавно были удовлетворяемы, все более и более научаются они ценить Лессинга. Он ближе к нашему веку, нежели сам Гёте, взгляд его проницательнее и глубже, понятия его шире и гуманнее. Только еще недавно стали постигать почти беспримерную гениальность его ума, удивительную верность его идей обо всем, чего ни касался он. Слава Лессинга все возрастает и, вероятно, долго еще будет возрастать. Но и теперь стало уже ясно для всех, что только очень немногие из людей XVIII века, столь богатого гениальными людьми и сильными историческими деятелями, могут быть поставлены на ряду с ним по гениальности и огромному историческому значению. Между своими соотечественниками он решительно не находит соперников в своем веке; сам Фридрих II не имел такого сильного влияния на развитие немецкого народа, как Лессинг*.

Мы уже сказали, что немецкую литературу последней половины прошедшего и начала нынешнего века надобно рассматривать преимущественно со стороны ее влияния на жизнь немецкого народа. Деятельность Лессинга, которая будет предметом наших статей, включает в себе начала всего того, чем сильна и благотворна для своего народа была эта литература; всему основание было положено Лессингом: подвиг его преемников был только осуществлением его мысли, и наибольшую часть того, что считал он нужным совершить, успел совершить он сам, оставив своим преемникам только меньшую и легчайшую половину труда; в великой борьбе, целью которой было возрождение немецкого народа, не только план битвы принадлежит ему,

* Шлоссер, Гервинус, Гиллебранд и проч.

но и победа была одержана им, — Гёте и Шиллер только довершали то, что уже было сделано Лессингом, — их слушали, потому что Лессинг заставил слушать; им сочувствовали, потому что Лессинг заставил сочувствовать идеям, которые выражали они, — и все, что было здорового в их идеях, было им внушено Лессингом. В нем или через него и от него вся новая немецкая литература до смерти Шиллера и до конца плодотворной эпохи в деятельности Гёте.

Мы хотим рассказать, что и как сделал Лессинг для исторического развития Германии, — и нам надобно начать с того, чтобы взглянуть, в каком положении застал он Германию.

Читатель не найдет странным, что изложение деятельности писателя начинается обзором состояния его родины не в одном литературном или умственном отношении, но и в государственном: писатель этот имел могущественнейшее влияние не на одну литературу, а на всю общественную жизнь Германии; результатом его деятельности было не возрождение одной литературы, а возрождение нации. Посмотрим же, в каком положении застал он свой народ.

[...]

Виновницею жалкого состояния литературы всегда бывает публика: если публика многочисленна и проникнута живыми стремлениями, нет в мире силы, которая могла бы остановить развитие литературы, нет затруднений, которые не были бы побеждены требованиями общества. Степень умственного развития в массе немецкой публики совершенно соответствовала общему состоянию литературы. Педантизм, робость, подобострастие и предубеждения всякого рода владычествовали в обществе. Мы говорили, что оно разделилось на касты, чуждавшиеся одна другой; главною двигательницею жизни в каждой касте было мелочное тщеславие, преклонение перед высшими, презрение к низшим. Религиозное одушевление исчезло после Тридцатилетней войны⁴, но осталась вражда различных христианских вероисповеданий: католики, лютеране, кальвинисты ненавидели друг друга; религиозные и нравственные понятия были суровы и грубы; вообще умственная жизнь была стеснена предрассудками и предубеждениями.

Наука, которая должна была бы противодействовать этим неблагоприятным для народного развития отношениям и вести нацию вперед, при распространившейся

привычке к педантству и формализму, получила такой вид, что сама служила одним из главнейших препятствий прогрессу умственной и общественной жизни. Университеты и школы, вообще говоря, не просвещали, а только еще более затуманивали умы. Все науки преподавались с кафедр и разрабатывались в кабинетах, в самой сухой и мертвой форме. Ученый обыкновенно был педантом и формалистом, слепо верившим тому, чему научился от своего бывшего наставника; он без всякой критики компилировал факты, не отыскивая в них смысла, заботясь только о систематичности и внешней ученой форме. Мертвый догматизм властвовал во всех отраслях науки, от философии до изучения древних языков, от законоведения до теории словесности. Параграфы, аксиомы, теоремы, леммы, королларии, подразделения заставляли забывать о живом содержании в нравственных и юридических науках, которые излагались с такою же сухостью, как алгебра или геометрия. В истории больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая внимания на смысл фактов и связь событий; в законоведении господствовал взгляд совершенно отвлеченный и односторонний, так что применение его к жизни было страшным бедствием для всего народонаселения: юристы были истинными мучителями для Германии; в богословии сохранились понятия, свойственные средним векам, и самый протестантизм стал неподвижен и безжизнен если не больше, то не меньше католицизма. Книги вообще писались так сухо и тяжело, что только записные ученые решались читать их. Еще в 1765 году Зульцер говорил:

«Книги остаются исключительно в руках одних профессоров, студентов и журналистов, и мне кажется, что писать для настоящего поколения — дело, едва ли стоящее труда. Если в Германии существует читающая публика вне круга людей, по ремеслу своему обязанных обращаться с книгами, то я должен признаться в своем невежестве — я не знаю о существовании такой публики. Я вижу за книгами только студентов, кандидатов, там и сям одинокого профессора, изредка проповедника. Общество, в котором эти читатели составляют незаметную — действительно, совершенно незаметную — частицу, не имеет и понятия, что такое литература, философия, что такое разумно нравственные убеждения и вкус».

Картина, составляющаяся из фактов, нами исчисленных, очень мрачна; но никто из знакомых с политическим

и умственным состоянием Германии в половине прошлого века не скажет, чтобы можно было представлять себе это состояние в ином свете.

«Гнуснейшее варварство» (die hässlichste Barbarei) — вот выражение, которым характеризует положение своего отечества около 1750 года Гервинус; а Гервинус принадлежит к числу людей очень умеренных, даже слишком умеренных в своем образе мыслей: он патриот, иногда даже слишком пристрастный к родной стране.

Но пришло время, когда ни один из европейских народов не мог оставаться в закоснелости своих недостатков и предубеждений, когда каждая нация почувствовала потребность новой, лучшей жизни, — и Германия пробудилась из своей нелепой и тяжелой летаргии.

Свежим воздухом веяло на нее из Франции, из Англии, — лучи нового света стремились на нее из этих стран, опередивших ее в XVII веке. Крепок был сон, долго медлила Германия пробудиться от него; густ был мрак, тяготивший над нею, но свет-таки восторжествовал над мраком, и открылись, наконец, глаза, отягощенные мертвою дремотою.

Мы видели, что подражание французам в жизни, подражание французам и англичанам в литературе не имело для Германии никаких следствий, кроме дурных, — это потому, что подражание всегда бывает внешним формализмом, убивающим дух, а подражателями бывают только люди ограниченные, лишенные мысли, лишенные собственного содержания. Но кроме внешнего формалистического влияния одного народа на другой есть другое влияние, живое и плодотворное, состоящее в том, что успехи народа, стоящего на высшей степени развития, служат предметом размышления для живых людей другого народа, отставшего на пути развития. Эти люди, занятые мыслью о средствах помочь своему народу, находят в жизни других наций примеры, которыми облегчаются их собственные соображения, находят факты, которыми пользуются они как доказательствами для убеждения массы в необходимости и возможности улучшений, требуемых положением нации. Все народы, двигаясь вперед при помощи успехов, совершенных более счастливыми их братьями, всегда сначала подчинялись формалистическому влиянию, потому что форма понятнее содержания для неразвитого человека; но потом, когда умственные сношения становились теснее, благодаря формалистическому сближению, начиналась возможность вдумываться и в содер-

жание цивилизованной жизни, формы которой были уже известны. Тогда иноземное влияние переставало быть противоположно народной жизни,— напротив, при помощи уроков и истин, выработанных жизнью собратий, народная жизнь быстро развивалась,— развивалась соответственно собственным потребностям и условиям, то есть вполне самостоятельно, так что исчезал всякий след умственной зависимости от других народов именно в то время, когда сближение с ними начинало приносить обильнейшие плоды.

Так было и с немецким народом. Англия и Франция во всех отношениях стояли выше Германии в конце XVII века. Влияние их на Германию было неизбежно. Оно отразилось во всех сферах жизни, сначала чисто формалистическим образом,— и на первый раз следствия сближения казались неблагоприятными для Германии: мы видели, как сначала были развращены французским влиянием высшие классы, как обесмыслена была литература подражанием французской и английской. Но это было только неизбежное временное зло, предшествующее прочному благу и несущее в себе семена его. Да и само по себе это зло было злом только по сравнению с идеалом народной жизни в будущем, а вовсе не по сравнению с предшествующим ее состоянием. Какова бы ни была подражательная немецкая литература, все ж это была литература, принадлежащая периоду цивилизации, какой прежде не имела Германия. Каковы бы ни были пороки и злоупотребления, введенные в государственную жизнь подражанием французскому двору, бедствия, от них происходившие, были ничтожны в сравнении с тем злом, которое происходило от учреждений и обычаев, развитых самою германскою жизнью: корнем зла был произвол, с одной стороны, подобострастие и апатия, с другой; а эти отношения не были занесены из Франции: они выросли на немецкой почве.

[...]

Ход великих мировых событий неизбежен и неотвратим, как течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах произвольно устроиваемых: плотиною ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всемогущая река одним напором выбросит на берег все сваи и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной попытки будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекою и зеленел

роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны, — а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится. Совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столько же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершится оно — это зависит от обстоятельств, которых нельзя предвидеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств — появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход и сообщают свою преобладающую силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы.

Не от появления Лессинга, как мы видели, зависело то, оживится ли или будет погрязать в прежней мертвой апатии немецкий народ. Великое событие приближалось неотвратимо и неизбежно. Но без него медленно, беспорядочно совершалось бы то, что при его помощи совершилось быстро, решительно и гармонически. Не было силы в мире, которая могла бы ослепить и оглушить немцев так, чтобы они не видели того, что делается, не слышали того, что говорится в Англии, Франции, Голландии. Не было силы в мире, которая могла бы удержать их от сближения с более образованными и более счастливыми нациями; не было силы в мире, которая могла бы уничтожить необходимость решительного изменения в жизни немецкого народа, когда он довольно познакомился с новым и лучшим порядком жизни у других наций. Роковое событие не зависело от присутствия или отсутствия личности Лессинга.

Но каким путем, какою силою совершится оно? Силою ли военных событий, законодательных и административных мер, силою ли чистой науки или влиянием литературы? Фридрих Великий, мудрый правитель, гениальный полководец, сидел на престоле одного из сильнейших немецких государств; через несколько времени главою империи явился один из благороднейших и благонамереннейших людей в истории, человек, единственною мыслью которого было благо подвластных ему народов, государь, какого не видела земля, быть может, со времен Марка Аврелия. Казалось, возрождение нации должно совершиться через этих государей, путем завоевания и администра-

тивных реформ при Фридрихе, путем законодательных реформ при Иосифе II — и, однако же, оно не совершилось этими путями, — почему не совершилось ими, не место здесь говорить о том, — быть может, потому, что в новой истории вообще оказываются бессильными те личности, которые, слишком полагаясь на свою силу, не ищут помощи своему начинанию в самостоятельной деятельности всей массы народа. Оставалось для возрождения два пути: путь науки и путь литературы. Наука начала совершать свое дело, но она действует медленно; несколько поколений должны были бы смениться, пока чистое знание проникло бы в жизнь.

Ускорится ли совершение этого дела вмешательством литературы, этой быстрой посредницы между знанием и жизнью? Тут уже все зависело от того, явятся ли в литературе гениальные деятели, которые верною и сильною рукою поведут и направят литературу к исполнению великого дела, совершение которого предоставлялось ей бессилием военных, законодательных и административных попыток возрождения.

Явился в Германии поэт с великим талантом — Клопшток. Всему благородному, по-видимому, сочувствовал он, всего великого и прекрасного хотел он; но — вина ли то воспитания, вина ли суетных забот о собственном бессмертии, вина ли его болезненной организации, вина ли его рассудка, не довольно проницательного и светлого — он, снискав чистую и громкую славу своему имени, не мог ничего сделать для своего народа. Перед ним все преклонились; но только немногие читали его, и из читавших никто ничему не научился от него, или, вернее сказать, кто читал его, тот или осуждал его направление, или увлекался на ложный путь, впадал в бесплодную сентиментальность, в туманные грезы, и делался человеком, чуждым жизни, вредным в жизни. Мы встретимся в биографии Лессинга с Клопштоком и его последователями, или союзниками, и там найдем доказательства этому печальному суждению. Итак, от Клопштока немецкий народ не мог ожидать ничего, кроме суетного удовольствия считать у себя одною знаменитостью больше.

Оставались люди, бывшие впоследствии очень полезными, как сотрудники Лессинга; но мы увидим, что это были люди второстепенных дарований, с хорошими стремлениями, но без ясного сознания, как и что нужно делать, — люди с хорошими убеждениями, но без верного такта, без твердого и последовательного образа мыслей, —

люди, которых деятельность, во всяком случае, была бы не бесполезна, но которые не имели силы совершить ничего великого и содействовать совершению чего-нибудь важного могли только под руководством гениального человека, который указывал бы им дорогу, соединял бы и направлял их усилия.

Кроме Лессинга не было в немецкой литературе человека, который мог бы дать ей решительное и плодотворное влияние на судьбу немецкого народа. Будет или не будет немецкая литература сильнейшею двигательною народной жизни, ускорится ли ее вмешательством развитие народа, или предоставлено будет только медленному действию чистой науки — разрешение этого вопроса совершенно зависело от того, будет ли между немецкими литераторами Лессинг, то есть будет ли гениальный человек, который верно поймет положение и потребности своего народа, постигнет всю важность, которую должна иметь литература для его жизни, твердо и решительно укажет литературе, что и как должна она делать, который, руководя деятельностью других, сам гениальными произведениями доставит литературе преобладающую важность между предметами, возбуждающими интерес в своем народе, сделает литературу средоточием национальной жизни.

В совершении этого дела величие Лессинга.

Он доставил немецкой литературе силу быть средоточием народной жизни и указал ей прямой путь, он ускорил тем развитие своего народа.

Это определение границ исторического значения Лессинга необходимо для того, чтобы предохранить себя от безграничного превознесения его: в самом деле, личность этого человека так благородна, величественна и вместе так симпатична и прекрасна, деятельность его так чиста и сильна, влияние его так громадно, что чем более всматриваешься в черты этого человека, тем сильнее и сильнее проникаешься безусловным уважением и любовью к нему. Гениальный ум, благороднейший характер, твердость воли, пылкость и нежность души, сердце, открытое сочувствию ко всему, что прекрасно в мире, сильные, но чистые страсти, жизнь без тени порока или упрека, полная борьбы и деятельности, — все, чем может быть прекрасен и велик человек, соединялось в нем.

[...]

Гениальный человек, развивая нашу мысль, в то же время обыкновенно поработает ее себе, — все равно, на-

читались ли вы Байрона или Платона, Гёте или Руссо, Жоржа Санда или Аристотеля — вы становитесь в какое-то зависимое положение от вашего путеводного гения, — вы на все смотрите его глазами, чувствуете, что вам нельзя иначе думать — не потому только, что истина его мыслей для вас очевидна, — нет, и потому также, что он положил границы вашему воззрению, как бы независимо от вашей воли, от вашего самостоятельного рассудка, подчинил вас себе, — словом, вы делаетесь то, что называется ученик, последователь, отчасти раб этого человека. Потому-то обыкновенно самые благотворные авторитеты имеют и свою вредную сторону — развивая мысль, они в то же время отчасти сковывают ее. Когда в нации пробужден дух самостоятельной пытливости, эта вредная сторона не имеет важных следствий, — вы подчинились одному авторитету, другой — другому, сотни других не хотят признавать ничьей безусловной власти над своею мыслью, — так, например, в Германии, в одно время, в одной философской области теперь существует бесчисленное множество различных самостоятельных мнений, все допытываются истины, никто не успокоивается готовыми результатами, все самодеятельно стремятся вперед и вперед, и Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, несмотря на всю обаятельную силу своих систем, не могли ни на одну минуту задержать дальнейшего развития мысли, — каждый из них повел ее шагом дальше, и каждый раз, сделав этот шаг, она устремлялась вперед, покидая прежнего учителя, даже низвергая его, если он хотел остановить ее.

Так и должно быть. Не добытый результат важен: все добытые человечеством результаты во всех областях жизни и мысли, как бы ни казались они блестящи по сравнению с прошедшим, все еще ничтожны сравнительно с тем, что должно быть приобретено мыслью и трудом, для обеспечения материальной жизни, для прояснения знаний и понятий. Важнее всех добытых результатов — стремление к приобретению новых, лучших; важнее всего пытливость мысли, деятельность сил. Немногие из гениальных людей так полно воплощали в себе эту пытливость, не успокоивающуюся ни в чем, эту деятельность, вечно стремящуюся к достижению новых результатов, полнейших всего прежнего, — немногие из гениальных людей, говорим мы, были так проникнуты не каким-нибудь определенным и потому ограниченным стремлением к какому-нибудь определенному, ограниченному результату, а жаждою идти все дальше и дальше, вперед и вперед, — чтобы добытые

ими результаты каждому уму служили только опорой, только возбуждением к дальнейшему самостоятельному исследованию. В области поэзии нечто подобное представляет Шекспир. Мы опять обращаемся к этому примеру, чтобы прояснить наше понятие. Кто поймет Шекспира, перед тем исчезают всякие другие авторитеты в поэзии — он выше всех, — а между тем преклонение перед Шекспиром ставит ли поэта в такое зависимое от него положение, как поклонение Байрону или Мильтону, (Жоржу Санду или Руссо)? — нет, кто поклоняется этим поэтам, чувствует непреодолимую склонность подражать им, и истинно талантливые люди делались мильтонистами или (руссоистами, жорж-сандистами или) байронистами, — но, понимать Шекспира — значит чувствовать в себе непреодолимый позыв к самостоятельному творчеству, — быть чуждым всякой мысли о подражании кому бы то ни было, хотя бы и самому Шекспиру *. Из области поэзии переходя в область мысли, можно указать несколько людей, оказывающих подобное же влияние, — таков, например, Монтань, таковы многие скептики, — но все они занимают в истории развития мысли только второстепенное место, и никто из них не имел преобладающего влияния на развитие целой эпохи. Лессинг не имел ничего общего с Монтанем или другими скептиками, — напротив, его убеждения очень определительны и тверды, он, можно сказать, ни в чем не сомневается, — ни в человеке, ни в законах вселенной, — он положительно говорит: «это мы знаем; в этом нечего сомневаться» — но — какое бы убеждение ни высказывал, как бы твердо ни высказывал его, какими бы неопровержимыми доказательствами ни подтверждал его, — все-таки он в конце ставит новый вопрос, все-таки заключает тем, что говорит: «то, что мы теперь знаем, только начало знания; нужно заняться теперь дальнейшими исследованиями, при которых и прежняя истина явится, быть может, в новом виде»; каждое его исследование представляется как будто только одною частью, отрывком, который должен читатель дополнить

* В гораздо меньших размерах можно почти то же сказать о Гоголе, если приводить примеры из нашей литературы. Пушкину подражали талантливые люди, но подражание Гоголю замтно только у писателей мало талантливых. Нынешние даровитые писатели произошли от Гоголя, — а, между тем, ни в чем не подражают ему, — не напоминают его ничем, кроме как только тем, что, благодаря ему, стали самостоятельны, изучая его, приучились понимать жизнь и поэзию, думать своею, а не чужою головою, писать своим, а не чужим пером.

уже сам. В главнейших его ученых сочинениях — «Лаокооне» и «Драматургии» — эта необходимость дальнейшего самостоятельного исследования выражается даже внешним образом: заключая «Лаокоона», он обещает со временем прибавить вторую часть к этому исследованию, которое положительно называет только первую частью; в «Драматургии» также несколько раз говорится, что вся она только первый отдел труда, который должен иметь продолжение; «Листки против Геце» прекращены, можно сказать, в самом начале. В каждой частности слышится тот же вызов читателю на дальнейшее обсуждение дела. Можно сказать, что и общее направление деятельности Лессинга не имеет такой общей темы, которую не сменила бы другая тема, если то потребуется развитием мысли, — он начал как литературный критик, а кончил теологическими исследованиями, которые, наверное, оставил бы для других изысканий, если бы прожил долее.

[...]

Мы видели, что под влиянием Лессинга образовались в немецкой литературе писатели, подобно ему, не сочувствовавшие ни одной из враждовавших партий, — критики, которые, подобно ему, должны были возбуждать к себе одинаковую нелюбовь во всех партиях. Их органом была «Библиотека изящных искусств». Но мнения этих людей были заимствованные, наваянные, не превратившиеся еще в их собственную плоть и кровь, — потому довольно бледные, довольно снисходительные. Эти ученики еще не так сильно прониклись новыми понятиями, чтобы совершенно оторваться от прежних, — не на столько были сильны, чтобы логически провести свой новый принцип по всей системе своих убеждений, — это были люди того характера убеждений, который ныне принято в критике называть «умеренным образом мыслей». Они могут быть очень благородны, очень благоразумны, — но не им увлекать вслед за собою (толпу); они могут быть очень почтенны, но они вовсе не эффектны, если можно так выразиться.

Их учитель был не таков. Он говорил то, что глубоко обдумал и сильно прочувствовал, — его убеждения имели уже логическую стройность и полноту, — он уже не мог делать уступок явлениям, которые не оправдывались его принципом, — он обсудил и безвозвратно осудил все устарелые понятия, — словом сказать, он был то, что теперь называется человек неумолимой логики, человек крайних убеждений.

Бывают эпохи, когда нужны обществу люди умеренных мнений, люди примирения, люди уступок, — они бывают очень полезны в конце борьбы, когда нужно дать пощаду признавшимся в своем бессилии побежденным. Но — начало борьбы, какова была во время Лессинга, имеет другие условия, — тут нужна была энергия. Когда вводится в жизнь новый принцип, прав которого еще не хотели признавать, он должен был со всею силою предъявлять все свои права, должен, не колеблясь, обнаруживать все слабые стороны явлений, неудовлетворительность которых делает появление этого нового принципа историческою необходимостью. (Завоевав персидское царство, Александр мог и должен был сделать уступки смирившимся перед греческою силою и греческою образованностью персам; но если бы он вздумал быть умеренным и уступчивым при Гранине, он только навлек бы на себя общее презрение, и лучше было б ему не переступать за границы своей Македонии. *Parcere victis et debellare superbos* — «Побежденных щади, но прежде смири до земли гордых», говорили римляне.

Забавны могут показаться эти воспоминания об Александре Македонском и римлянах, по случаю тощего критического журнала и бесприютного магистра, который считал бы себя блаженным, если бы мог получить место секретаря при каком-нибудь провинциальном чиновнике, — положение, которого действительно жаждал Лессинг в то время, когда писал свои статейки для «Литературных писем». И прежде всего эти параллели кажутся не только забавны, но и прискорбны нам. Страшно подумать о том, что бывают положения, когда для судьбы целого народа очень важным становится вопрос о каких-нибудь стишках, статейках или повестушках. Но что же делать? — «из песни слова не выкинешь», тем больше из истории не выкинешь факта. Что ж делать, если единственным средством к возрождению целой великой нации оставалось то, что называется мараньем бумаги. Мы видели, что около половины XVIII века мертвящая формалистика и бессмысленный произвол, грубость нравов и эгоизм разврата погружали Германию в какую-то хаотическую летаргию, так что преграждены были всякие обыкновенные пути к полезному действию на состояние нации. Сам Фридрих II, при всей своей гениальности, сорокапятилетними неутомимыми трудами мог создать только такое государство, которое в один день исчезло от прикосновения Наполеона — едва рассеяны были войска прусские под Иеною

и Ауэршта[д]том, как уже и не существовало Пруссии. Сам Иосиф II, при всей своей беспримерно самоотверженной заботливости о благе народном, не мог преобразовать свое государство. Апатия нации, неприготовленность людей к желанию чего-нибудь лучшего отнимала у него и всех подобных ему всякую надежду на успех, — да и не могло являться много подобных ему при общем растлении или равнодушии. Оставался один путь к полезному действию на нацию — литература; писатель не требует ни приготовленности многочисленных сподвижников, — он их сам создает, — ни широких границ, ни больших средств для своей деятельности, — ему нужно только, чтобы в народе была грамотность. Очень может быть, что почти никто не сознавал грустной необходимости германскому народу считать литературу важнейшим своим делом за отсутствием других более прямых способов исторической деятельности, — но в течение полувека все лучшие силы нации инстинктивно обращали свои силы на литературу. В ней одной немецкая нация нашла для себя источник новой, лучшей жизни, и медленно, но прочно возводится великое здание, первым основанием которого легли «Литературные письма» Лессинга.)

Мы не будем здесь излагать содержания лессингова журнала, — это мы сделаем в особенной главе, а теперь скажем только несколько слов об его общем действии, о тех чертах, которыми, со времени «Литературных писем», резко запечатлелась вся жизнь немецкой нации.

Мы видели, какую репутацию имел Лессинг и за что он имел ее. Человек энергического ума и смелого характера, он ненавидел то, что называется «половинчатостью» (Halbheit); чего он хотел, того хотел не шутя, что говорил, то говорил вполне, до конца, — если он не видел возможности или не находил надобности выражать свою мысль во всей ее силе, он лучше вовсе не выражал ее. Поэтому первое впечатление, произведенное «Литературными письмами», было впечатление страшной резкости суждений. Видя необходимость для немецкой литературы в совершенном разрыве с прежними вздорными формалистическими стремленьями, он без всяких церемоний и без малейших уступок доказывал, что все произведения, нравившиеся до той поры публике и превозносимые рецензентами, никуда не годятся, а самые великие литературные знаменитости — или люди бесталанные, или погубившие свой талант (последнее говорил он о Клопштоке, первое — о всех остальных знаменитостях), что все прежние литературные

понятия — чистый вздор. Никаких уступок не делал он заблуждению и безусловно отрицал всякое достоинство в явлениях, важного значения которых не смели отвергать даже люди, принадлежавшие к его школе. В этом состоит очевиднейшее отличие «Литературных писем» от «Библиотеки изящных искусств». Примером его пусть служит знаменитая фраза о Готтшеде как драматурге: «Никто не будет отрицать, — говорила «Библиотека», — что немецкий театр в значительной степени обязан своим первым усовершенствованием г. профессору Готтшеду». — «Я этот никто, — говорит Лессинг, цит[ир]уя слова эти в XVII-м письме, — я совершенно отрицаю это».

Резкость суждений была первым условием сильного влияния «Литературных писем» на публику и писателей. Немецкая мысль была тогда одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли пробудить ее. В этом отношении, как и во всех других, Лессинг был именно человек, в каком нуждалось то время. Только беспощадная диалектика, не оставлявшая ни одного уступчивого слова для успокоения, могла заставить публику и писателей признаться в том, что литературные дела их действительно в плохом состоянии, и пробудить в них потребность исправления безжалостно раскрытых недостатков.

Теперь мысли, возбуждавшие изумление, когда явились в «Литературных письмах», стали общими местами, суждения о писателях и их произведениях, возбуждавшие негодование, смешанное с удивлением, когда являлись в «Литературных письмах», повторяются в каждом учебнике, — стало быть, энергия выводов и выражения не заводила Лессинга в несправедливую односторонность; но не в том только дело, что он был прав, осуждая Клопштока и Крамера, Готтшеда и Бодмера: не много бы выиграли немцы, если бы научились из «Литературных писем» только верному взгляду на факты, обсуждавшиеся в этом журнале, — факты были вообще не слишком важны и, по правде сказать, не стоило бы труда вовсе и говорить о них, если б немцы были приготовлены к тому, чтоб слушать и понимать суждения о чем-нибудь важнейшем, нежели произведения Готтшеда с его союзниками и противниками. Важно было не столько приобретение немецким обществом суждений о литературных явлениях, сколько то, что вместе с содержанием суждений перешел в немецкую мысль их дух, — дух строгой, не останавливающейся ни перед какими выводами логики, не признающей за за-

блуждением права на уступки, ищущей только чистой истины, какова бы ни была от того судьба наших личных предубеждений и поползновений.

Нелепо было бы нам, людям посторонним, быть безусловными поклонниками немцев и ставить их поэтов и мыслителей идеалами, перед которыми ничтожны, например, поэты и мыслители английские и французские, — сами немцы не впадают в такую ошибку, тем нелепее была бы она у нас. Но беспристрастные люди всех наций согласны в том, что если, вообще говоря, французские или английские писатели имеют во многих отношениях превосходство над немцами *, то по смелости взгляда и логичности выводов немцы стоят далеко выше их. Французы с парадоксальным экстазом провозглашают, сами изумляясь своей смелости, такие мысли, наивность которых кажется пресною для немцев; англичане пресерьезно доказывают справедливость понятий, нелепость которых очевидна для немца с первого взгляда, — кроме того, они слишком плохие диалектики сравнительно с немцами. Широта и беспристрастие взгляда чаще встречаются у немца, нежели у кого-нибудь. Несправедливо было бы считать это достоинство особенным качеством немецкой национальности — логическая сила есть общее достояние человеческого ума; но то несомненно, что вследствие привычки к глубокому и беспристрастному мышлению это драгоценное качество сильнее развито в настоящее время в немецкой, нежели в какой бы то ни было другой нации. Нельзя приписывать, конечно, развитие этой привычки исключительно или преимущественно влиянию одного какого-нибудь человека, — оно было следствием общего состояния Германии в половине прошлого века и свойства тех вопросов, на которые первоначально устремились умственные силы немецкого народа. С одной стороны, факты его жизни были так незавидны, что не могли порождать особенного пристрастия к себе: у немцев не было ни блестящей национальной истории, ни блестящих периодов литературы, как у французов и англичан, ни причин гордиться устройством своего внутреннего быта, как у англичан, или умственным владычеством над Европою, как у французов. Они не имели поводов быть пристрастны-

* Мы, конечно, говорим вообще о характере литератур, а не о немногих писателях, составляющих редкие исключения; Гизо, например, в своей «Истории цивилизации» француз только по изложению, а по духу — немец; Гейне — чистый француз; Мальтус — немец по неуклонной логичности выводов.

ми — не к чему было пристраститься; не имели поводов быть робкими в выводах из опасения коснуться отрицанием чего-нибудь драгоценного — им было нечего беречь и шадить. С другой стороны, первоначальной школой, в которой воспитывалась их мысль, было обсуждение вопросов, более или менее отвлеченных, — литературы, науки, — в этих сферах привыкнуть к смелости и беспристрастию выводов легче, нежели в сфере бытовых и общественных вопросов, где от положительного или отрицательного решения непосредственно зависит все материальное и общественное положение человека. И самая натура вопросов, к которым первоначально обратилась пробуждавшаяся немецкая мысль, и обстоятельства, в которых пробудилась она, развивали в ней склонность и потом привычку к логичности выводов и широте взгляда. Но того нельзя отрицать, что насколько отдельный факт может иметь влияние на развитие в обществе известных стремлений, настолько «Литературные письма» содействовали образованию в немецкой мысли того драгоценного качества, о котором говорили мы. Эти письма были первым и чрезвычайно блестящим указанием пути, по которому пошла немецкая мысль. Действие, произведенное ими, было очень сильно: все могли учиться из этого примера, все почувствовали желание идти по дороге, в первый раз проложенной Лессингом.

По своей натуре, чрезвычайно живой и пылкой, Лессинг вообще был расположен работать именно только над тем, что не могло быть совершено другими; в нем жило инстинктивное влечение гениальных людей устремлять свои силы только на существеннейшую часть дела, представляя другим второстепенным людям то, что уже по силам для них — именно разработку поставленной руководителем задачи и пользование доставленными им к тому средствами; кроме того, он, как мы видели, имел ту особенность, что не любил держать в зависимости от себя волю и ум других, — ему было противно завидное для столь многих положение главы школы, окруженного последователями, — главною его задачею было возбуждение самостоятельной деятельности в других, — как скоро истинный путь был указан, деятельность возбуждена, он чувствовал свое дело совершенным, ему скучно и противно было участвовать в нем долее, стесняя своим превосходством развитие других, — он чувствовал уже влечение обратиться к решению других задач, еще не тронутых. Именно такой характер и был тогда нужен для возрождения немецкой

мысли в мыслителе, который был бы предводителем нового движения. Характер Лессинга как человека соответствовал потребности Германии в таком писателе, который возбуждал бы к деятельности, не отнимая работы у пробужденных умов своим неотступным участием, который научал бы, не подчиняя. Ему скучно было долго оставаться на одном месте или в одинаковых отношениях, — ему нужна была перемена обстановки, разнообразие занятий.

Участие его в «Литературных письмах» было очень непродолжительно, — оно длилось не более того, сколько нужно было, чтобы возбудить напряженное внимание общества к новому критическому направлению и образовать его деятелей, поставить, так сказать, на ноги людей, которые могли бы идти по указанному направлению. «Литературные письма» начались с началом 1759 года, они выходили маленькими еженедельными тетрадками, — первые восемь тетрадок были написаны почти исключительно Лессингом (из девятнадцати «Писем», которые составляют их, только одно шестое написано не Лессингом, — все остальные восемнадцать и общее введение принадлежат ему), — потом он писал много, — около третьей доли всех статей, — до конца октября 1759 года, — потом его статьи стали являться уже очень редко, почти случайно, — потом и вовсе прекратилось его участие, и он только пишет, наконец, заключительное (332-е) письмо, которым в 1764 году оканчивается издание журнала, для которого он в первые два месяца работал один, потом несколько более полугода был одним из самых деятельных участников, но после, в течение четырех с половиною лет, уже не считал нужным принимать участие, когда новое, начатое им направление получило уже возможность продолжаться без его помощи.

Внешнюю причину прекращения постоянной работы Лессинга для «Литературных писем» было то, что он, прожив около двух лет в Берлине, уехал из этого города, — отчасти соскучившись жить в нем, отчасти наскучив добывать себе пропитание литературною работою и подумав о том, чтобы обеспечить несколько свое существование, отчасти, наконец, и то, что ему стало скучно общество берлинских друзей.

Вообще, Лессинг не встречал в жизни таких людей, дружба которых долго сохраняла бы силу над его задушевными стремлениями. Он был слишком многим выше самых лучших из тех, с которыми сводило его взаимное расположение и уважение. Слишком короткие сношения

с кем бы то ни было скоро становились для него отчасти скучными, отчасти стеснительными, и он чувствовал потребность изменить свою обстановку, чтобы дружеские отношения не разорвались его утомлением. Эту черту мы замечаем во многих гениальных людях, — можно сказать, во всех тех из числа их, которые не были подвержены пороку мелкой суетности, находящей удовольствие в порабощении себе кружка поклонников, который воскурял бы им фимиами. Это надобно отличать от холодности или эгоизма. Почти каждый испытывал нечто подобное, когда случалось ему жить в постоянном общении с людьми, стоявшими по уму и развитию ниже его, — как бы сильно ни любил он этих людей, общество их мало-помалу становилось для него скучно, и он, сохраняя готовность делать для них все возможное, начинал думать, что свидания с ними были бы приятнее, если бы сделались реже. Чувство, испытываемое случайно, временно многими из нас, почти постоянно испытывается гениальными людьми. Надолго могут быть приятны постоянные, ежедневные беседы только между людьми, равными между собою. А таких людей почти не приходится встречать человеку, который сам составляет редкое исключение. Отсюда склонность к уединению, овладевающая теми из людей гениальных, которые могут довольствоваться уединением.

Лессинг был не таков. Он не мог жить без людей, однако же, всякий кружок скоро утомлял его, — отсюда у него происходило стремление к перемене кружков, — и самым легким средством к достижению были переезды с одного места на другое. Ни к одному из своих друзей не охладевал он, но нигде не мог ужиться долго, и тем задушевнее были возвращения его на некоторое время в тот или другой кружок, после двух-трех лет отсутствия, в продолжение которого также поддерживались самые дружеские отношения перепискою. [...] Теория имеет очень сильное влияние на практику. Не довольно было для оживления немецкой поэзии практически ввести в поэзию жизнь: чтобы поданный пример оказал полное влияние на деятелей литературы, надобно было также теоретически разрушить теоретические предрассудки, сбивавшие с толку поэтов. Не довольно было проложить прямой путь, — надобно было также объяснить, что этот путь единственный прямой путь, что кривые пути, казавшиеся прямыми сбившимся с толку людям, действительно кривы. Нужно было создать новую теорию поэзии, разрушив ошибочные

теории, на которые опиралась формалистика и безжизненность.

Это сделал Лессинг своим «Лаокооном». Мы не будем излагать здесь содержание этого исследования о верховном принципе поэзии, отлагая подробный обзор его до другого места, — теперь надобно только сказать о том общем принципе, который поставил Лессинг в «Лаокооне» существенным характером поэзии в отличие от других искусств, особенно от живописи, которой прежняя безжизненная теория подчиняла и тем обессиливала поэзию, требуя от нее того, чего не может она дать, и заставляя ее забывать о том, чем она сильна. Предмет поэзии — действие, сказал Лессинг. Не тело, не природу должна она описывать, — в этом она бессильна, это область живописи, недоступная для поэзии, — она может давать нам понятие только о действии. Живопись изображает самые предметы, поэзия изображает действие предметов на человека, — ей никогда не удастся изобразить пейзаж так отчетливо, как то делает живопись, — но действие этого пейзажа на душу человека изобразит она со всею точностью и живостью, — дело, невозможное для живописи, — а зная действие предмета, мы узнаем и самый предмет, — передайте мне впечатление, производимое пейзажем, и пейзаж жив и отчетлив воссоздается моим воображением, хоть он и не описан у вас. Не описывайте мне в стихах красоту, — описание будет бледно и смутно, но покажите действие красоты на людей, и она живо, живее, быть может, чем на картине, обрисуется моим воображением. Итак, действие, действие — вот что составляет силу поэзии, составляет ее специальный предмет.

Таким образом, человеческая жизнь поставлялась единственным коренным предметом, единственным существенным содержанием поэзии, драматический элемент признавался основною силою ее. Ничего неподвижного, ничего мертвого и отвлеченного не должно быть в поэзии. Она рассказывает только, каким образом действует обстановка на человека и человек действует на окружающий его мир. Поэзия есть драма жизни *.

* Драматический элемент, конечно, не должно смешивать с драматической формой. По теории Лессинга, форма рассказа, воспроизводящая все элементы действия полнее и свободнее, нежели односторонняя диалогическая форма драматических сочинений, есть самая совершенная из поэтических форм. В ней более истинного драматизма, нежели в узкой диалогической форме.

Со времен Аристотеля никто не понимал сущность поэзии так верно и глубоко, как Лессинг. Его «Лаокооном», в первый раз в течение двух тысяч лет, были объяснены и оправданы намеки Аристотеля, остававшиеся непонятными до той поры.

Действие, произведенное «Лаокооном» на развитие немецкой литературы, было так же огромно, как действие «Литературных писем» и «Минны фон-Барнгельм». Гёте и потом Шиллер воспитались этою теориею. Сам Гёте, который не любит Лессинга, говорит в своей автобиографии: «Надобно быть юношею, чтобы вообразить себе, какое действие оказал на нас лессингов Лаокоон (Гёте было тогда лет восемнадцать), — он поднял нас из бедной сферы внешних очертаний в свободную область мысли. Разом было низвергнуто искаженное понятие о том, что поэзия должна подражать живописи. Мы были озарены, как молнией, отбросили все прежние понятия, как ветхую рухлядь, нам казалось, что мы спасены теперь от всякого зла».

Влияние «Лаокоона» на главных поэтических деятелей следующего периода немецкой литературы было так решительно, что даже второстепенные, мелочные замечания Лессинга были строго соблюдаемы ими. Укажем два примера. Лессинг, разбирая места, которые считались примерами поэтической живописи у Гомера (он первый сказал, что если есть руководители в искусстве, то этими руководителями должны считаться Гомер и Шекспир, и в написанной части «Лаокоона» все свои выводы основывает преимущественно на анализе Гомера), объясняет, что это не описания предметов, а рассказы о происхождении и судьбе этих предметов, — Гомер не описывает корабля, а рассказывает, каким образом был построен корабль. Этим примером подтверждает он свою мысль, что, если поэту нужно обрисовать черты и принадлежности предмета, приличнее всего ему не прямо изображать их в неподвижном их состоянии, готовыми, как то делает живописец, а все-таки рассказывать для этой цели о движении, переменах действия. У Гёте постоянно соблюдается этот прием. Далее, Лессинг замечает, что у Гомера нет портретов действующих лиц, — он не говорит нам даже, какого роста и какого характера красота была Елена, — а между тем все черты лица Елены очень ясны и живы для его читателя, — это потому, что он рассказывает о впечатлениях, которые производило это лицо на видевших его, — и это опять соблюдается у Гёте: у него нет портретов, есть только рассказы о впечатлениях, производимых лицами.

После таких примеров ясно, до какой степени «Лаокоон» воспитал поэзию Гёте. Гёте, конечно, никто не станет воображать человеком, который мог останавливаться на внешней зависимости от мелочных правил, — если эти детали лессинговой системы отразились на нем, то, конечно, только потому, что он слишком глубоко проникся духом, из которого возникала необходимость таких деталей.

После «Литературных писем» Лессинг начал считаться первым критиком Германии; после «Лаокоона» утвердился его репутация как великого мыслителя и великого ученого; после «Минны фон-Барнгельм» он был признан знаменитейшим из поэтов. Теперь все видели, что он стоит во главе немецкой литературы.

Он был оракулом молодого поколения. Гёте, Гердер, Мерк, изучая его, готовились выступать на дорогу, им открытую. Какое живительное влияние производило прикосновение его мысли и на людей, которые были старше его летами и ученою славой, но не отжили еще свой век в умственном отношении, показывает случайно сохранившийся анекдот о свидании его с Михаэлисом. Около того времени, о котором мы говорили в конце статьи, Лессинг ездил из Берлина в Пирмонт отчасти для развлечения, отчасти для поправления здоровья. На возвратном пути он заехал в Гёттинген, где жил Михаэлис, основатель новой экзегетики. Михаэлис был, как мы упоминали, знаменитый человек еще в то время, когда Лессинг только еще начинал писать и своею похвалою ободрял юношу. Лессинг чувствовал к нему признательность и навестил его. Разговор склонился на теологические науки, в которых Михаэлис по справедливости считался тогда первым специалистом. Лессинг заметил вообще, что наука в Германии остается до сих пор доступна только записным ученым, которые не заботятся о том, чтобы распространять в массе читателей ее результаты. Например, говорил он, перевод Библии Лютера, конечно, уж мог бы быть заменен лучшим и точнее — этого никто не сделал, а надобно было бы сделать это и издать новый перевод с пояснительными историческими и археологическими примечаниями, которые, имея ученое достоинство, были бы написаны не для одних специалистов, а для всей массы читателей. Михаэлис до того времени и не думал об этом — теперь мысль заронилась в его ум, — и следствием визита, сделанного ему Лессингом, было появление знаменитого михаэлисова немецкого перевода Библии по плану, изложенному Лессингом.

[...]

Но вот воспиталось новое поколение, — в критике появляются Гердер, Мерк, Лихтенберг, Гёте; в поэзии — Гёте, Ленц, Клиндер, Лейзевиц и, в одно время с ними, около начала 1770-х годов все бесчисленные критики и поэты периода «бурных стремлений». Все они воспитаны преимущественно Лессингом, многие — исключительно Лессингом. Каково-то будет отношение учителя к ним, каково-то будет отношение их к учителю?

Именно тут и обнаружилась самым ярким и редким образом его натура, удивительная по своей необыкновенности, совершенно нормальная по своей разумности. Когда они выступили на сцену, он совершенно сошел с этой сцены, вполне уступая им место. Он перестал работать для поэзии, для литературной критики. «Теперь и без меня довольно исправных работников на этих полях, — мое дело кончено, я стал бы только мешать им; они и без меня делают все, что нужно, — они умеют и хотят работать, пусть же трудятся, как умеют и как хотят». Роль воспитателя должна кончаться, когда воспитанники совершенно приготовлены.

Значило ли это, что он вполне ими был доволен? Значило ли это, что он увидел себя бессильным побороть их, если не был доволен ими? Или это значило, что он устал работать и рад был случаю бросить работу? В известных отношениях на все эти вопросы надобно отвечать: «да», в других отношениях — «нет».

Новые деятели поэзии и критики сильно возбуждали мысль своего народа, все были проникнуты любовью к добру и истине, многие из них были чрезвычайно даровиты, некоторые — гениальны: во всех этих отношениях Лессинг мог быть совершенно доволен ими. Еще важнее было то, что они были люди независимых мнений и самостоятельных стремлений; их нельзя было ни запугать, ни ослепить авторитетом, они проверяли самым строгим образом каждый авторитет и скорее расположены были, лишь бы только допустила истина, воспротивиться, чем последовать ему, — в таком настроении умственной жизни была существеннейшая историческая потребность, оно требовалось и натурой самого Лессинга, — в этом отношении он мог гордиться своими наследниками. Каждый из них шел по тому пути, какой сам считал лучшим, — но по какому бы пути ни шел кто из них, Лессинг мог видеть, что этот путь в числе многих других путей указан и предложен им, Лессингом. Каждый из них разрабатывал общее

поле по-своему, но поле это было то самое, которое указал Лессинг, и цель у всех была общая, та самая, для которой трудился и он — пробуждение сознания в немецком народе, пробуждение энергии и прямоты в умственной жизни народа.

Люди нового поколения были воспитанники Лессинга и работали, вообще говоря, сообразно примеру, поданному общим учителем. Конечно, мы не можем здесь перечислять все признаки, которыми отразилось изучение его произведений на каждом из этих новых деятелей, — но пусть представителями родовой связи будут два значительнейшие из них, Гердер и Гёте, которые, оставаясь каждый очень многосторонним, все-таки как бы разделили между собою деятельность, обнимавшую у Лессинга равно все стороны литературы, и сделались знамениты, один — по преимуществу теоретическими трудами, другой — осуществлением теории в художественных произведениях.

Гердер до такой степени был пропитан сочинениями Лессинга, что из теоретических произведений учителя не осталось почти ни одного, которое не подало бы ученику случая к сочинению в том же роде, на ту же тему. Лессинг писал «Защитения» (*Rettungen* — изыскания с целью восстановить добрую славу о характере и нравственных правилах того или другого знаменитого старого писателя, по неосновательным обвинениям прославившего дурным человеком), между прочим «Защитение Горация» — и Гердер написал «Защитение Горация»; Лессинг написал исследование об эниграмме — и Гердер написал исследование об эниграмме; Лессинг написал исследование о басне — и Гердер написал исследование о басне; различные рассуждения или отдельные мысли Лессинга породили исследования Гердера «О знании и незнании», «Взгляды на будущность человечества», «Полингенезия» и т. д. «Литературными письмами» Лессинга были порождены «Отрывки для немецкой литературы» Гердера; «Лаокооном» и «Антикварскими письмами» Лессинга — «Критические леса» Гердера и т. д. * Недаром говорил Гердер, что «как он ни бьется, а все-таки единственный человек, интересующий его, — Лессинг». Мы по необходимости указываем только некоторые из тех случаев, когда целое сочинение Гердера все целиком возникло из сочинения, написанного Лессингом; рассматривать связь идей Гердера с идеями Лессинга было бы слишком долго и неуместно здесь, — но легко угадать, до какой степени воз-

* Гerviнус.

зрения Гердера обуславливались мыслями, указанными ему Лессингом, если большая часть его сочинений прямо написаны на темы, данные ему Лессингом. И не надобно воображать, чтобы такое отношение существовало только в первый период деятельности Гердера, — нет, оно не изменялось до конца его жизни.

Случайно мы уже приводили несколько суждений Гёте о действии некоторых сочинений Лессинга на развитие самого Гёте, — мы уже видели, как он сам признавался, что «Лаокоон» «озарил его, как молния», и овладел его мыслью на многие годы, что «Эмилия Галотти» «ободрила» его, — прибавим к этому слова Гёте о «Минне фон-Баригельм»: «Очень сильно подействовала на нас эта пьеса. Действительно, она была блестящим метеором в те темные времена. Она дала нам понять, что существует нечто высшее всего того, о чем знала тогдашняя эпоха». Мы видели также, какой сильный отпечаток на манеру Гёте положили даже второстепенные замечания Лессинга, например, хотя бы о том, что описание предмета должно в поэзии заменяться рассказом его происхождения и судьбы. Число этих примеров легко было бы умножить*. Но мы лучше хотим заменить их несколькими чертами сходства между Лессингом и не одним Гёте, а всеми поэтами той эпохи, которой по духу и манере принадлежат «Вертер» и «Гец фон-Берлихинген».

Лессинг осмелся знаменитое правило о соблюдении в драме трех единств, указал на Шекспира, как поэта, произведения которого должны вечно быть в памяти каждого драматурга, — тотчас после этого является поклонение Шекспиру, подражание Шекспиру, забота о том, чтобы не показаться соблюдающим какое-нибудь из трех единств; преимущественно влиянию Лессинга надобно приписать и преобладание драмы в тот период немецкой литературы; Лессинг писал исключительно драмы, и все начали писать драмы и драмы.

То же самое было и с литераторами, которые действовали на ученом поприще: Лессинг был полигистор⁵, и все захотели быть полигисторами, трудиться не для одной какой-нибудь науки, а для всех гуманитарных наук зараз, от эстетики и философии до древностей и теологии. Лессинг писал все только отрывки, никогда не доканчивая

* Например: Гёте, когда был в Италии, почел необходимою написать исследование о статуе Лаокоона; перевел сочинения Дидро, на которые указал Лессинг, и проч.

всего сочинения, как сначала хотел написать его, — и все начали писать отрывки, и явилось в немецкой литературе целое племя «фрагментаристов»; Лессинг восставал против цеховой учености и педантства, — и все начали восставать против цеховой учености и педантства. Наконец — общая черта, в которой соединялись и поэты и мыслители периода, следовавшего за «Гамбургской драматургиею» и «Эмилией Галотти»; Лессинг говорил о самостоятельности, о строжайшем переисследовании всего, что внушается авторитетами, заветами преданием, о проверке собственным анализом всех правил, всего, что принято нами с детства как аксиома, — независимость мнений стояла для него выше всего, — и самым горячим стремлением периода, начавшегося с 1770 годами, было стремление к проверке, к переисследованию всех правил, всех авторитетов, непринимание ничего на-слово, общим лозунгом всех была самостоятельность и оригинальность.

Сильно было его влияние на эту эпоху и всех лучших ее деятелей: если иметь в виду только общие черты этих людей, то они все сходятся в том, что вышли из Лессинга. Но их крик о самобытности не был пустою претензией: действительно, развившись благодаря Лессингу, ни один из них не утратил через это воспитание ни одной черты, принадлежавшей его личности. Укажем опять на одного из двух главных представителей того времени, на Гердера. О Гёте нечего и говорить: каждому из читателей, конечно, очевидно, что он нимало не напоминает собою Лессинга; о подчиненности его как поэта Лессингу не может быть и речи: он несравненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту. Но Гердер, всем обязанный Лессингу, напоминает собою, однако же, вовсе не Лессинга, а другого своего учителя, известного полигистора Гаманна, который недолюбливал Лессинга и составлял решительную противоположность с ним: тот же фосфорический блеск отдельных мыслей, но и тот же восточный тон восторженной речи, та же беспорядица в воззрениях, то же фантазерство, та же раздражительность ипохондрического самолюбия, тот же оттенок чего-то вроде юнгштиллингизма или лафатерщины⁶, — вообще в манере и в воззрениях что-то похожее на Шатобриана. Отчасти превосходством натуры, отчасти влиянием Лессинга значительно сгладились в Гердере эти недостатки и угловатости, но все-таки они остались еще очень резки. Вот один из примеров, по которым можно судить о том, до какой степени отличались следствия лессингова влияния от обыкновенных следствий, ка-

кими отпечатывается на человеке подчинение чьему-нибудь влиянию: Гаманн, гораздо менее Лессинга содействовавший развитию Гердера, отразился в нем со всеми своими недостатками; Лессинг, давший ему все, не навязал ему ничего чуждого его натуре. Не говорим уже о том, что Гаманну Гердер до конца только поддакивал, как авторитету, а с Лессингом с самого начала спорил, как с простым человеком, нисколько не стесняясь, — а пробуждение такой независимости и было существенной потребностью истории, главною задачею Лессинга.

Итак — возвращаемся к нашим вопросам — Лессинг мог быть вполне доволен людьми, которым совершенно уступал критическое и поэтическое поприще? Быть может, именно потому он и сошел с этого поприща, что иного и лучшего, нежели делали они, и не мог желать сделать? — Не совсем.

Все вместе, как одно целое, люди молодого поколения были верны Лессингу. Но в частности каждый из них по кругу своих воззрений и сочувствий был гораздо одностороннее его *. Таков естественный ход исторического развития во всех сферах, что первоначальное равновесие различных элементов, обнимаемых вновь возникшим стремлением, разрушается при дальнейшем движении этого стремления, так что одна сторона его берет перевес над другими, и основное единство распадается на множество направлений, из которых одно, наиболее благоприятствуемое историческими обстоятельствами, становится господствующим, оттесняя все другие на задний план.

Было бы слишком долго и неуместно говорить здесь, почему сильнейшие люди нового поколения, Гердер и Гёте, склонились на ту, а не на другую сторону. Довольно сказать, что сторона, к которой склонялись они, была антипатична Лессингу. У Гердера слабою стороною было излишнее преобладание воображения над рассудком, у Гёте (в ту эпоху, эпоху «Вертера» и увлечения поддельными оссиановскими песнями) сентиментальность.

* Мы говорим о духе, проникавшем систему воззрений того или другого из новых деятелей, а не о широте круга их занятий, — занятия могли бы быть разделены между различными людьми без вреда для всесторонности духа, их оживлявшего, — но эта всесторонность и была утрачена; а круг занятий у многих из людей нового поколения был чрезвычайно многосторонен. Гёте был в этом отношении даже универсальнее Лессинга, обнимая, кроме тех отраслей знания или мысли, для которых трудился Лессинг, и естественные науки, которые лежали вне круга деятельности Лессинга, хотя и бывшего, подобно Шиллеру, в молодости медиком.

Отсюда происходило пристрастие Гердера к Гаманну, пристрастие Гёте к людям, подобным Лафатеру, уживчивость его с людьми, подобными Юнгу-Штиллину. Такие предпочтения казались Лессингу неразумными и вредными, и произведения, написанные в этом направлении, фальшивыми. Чтобы не растягивать нашего рассказа, приведем только один пример — суждение Лессинга о «Вертере». Читатели знают, что сюжет этого романа дан Гёте действительным событием — судьбою Иерусалема (сына известного теолога), который лишил себя жизни. Вот знаменитое письмо Лессинга к Эшенбургу об этом романе:

«Чрезвычайно благодарен вам, любезный Эшенбург, за удовольствие, которое доставили вы мне, одолжив роман Гёте. Возвращаю вам его днем раньше условленного срока, чтобы другие поскорее могли насладиться этим удовольствием.

Но как вам кажется: чтобы не паделать больше вреда, нежели пользы, не должно бы это столь теплое произведение иметь коротенький холодный эпилог? Нужно бы несколько слов о том, как развился в Вертере такой странный характер; как другой юноша с подобными наклонностями может уберечь себя от этого. Ведь он, пожалуй, может принять поэтическую красоту за нравственную и вообразить, что если этот человек столь сильно возбуждает наше участие, то значит, что он был *хорош*. А он вовсе не был хорош. И если бы наш Иерусалем* был совершенно в таком душевном состоянии, то я... почти что презирал бы его. Скажите, греческий или римский юноша лишил ли бы себя жизни *так и из-за такой причины?* Наверно, нет. О, они умели не поддаваться фантазерству в любви, и во времена *Сократа* такую *ex erôtos katochê* (коллизия от любви), доводящую до *ti tolmaîn para physin* (до лишения себя жизни), простили бы разве какой-нибудь девчонке. Производить таких мелко-великих, презренно-милых оригиналов было предоставлено только нашему ново-европейскому воспитанию, которое так отлично умеет превращать физическую потребность в душевное совершенство. Итак, любезный Гёте, прибавьте в конце еще маленькую главу, и чем циничнее, тем лучше».

Лессинг хотел очистить память своего молодого друга от «презренной слабости», которую взводил на него роман, — для этого он издал сочинения Иерусалема сына, с предисловием, в котором изображал покойного как человека с мужественным характером и светлой головой. Лессинг так сильно возмущался «Вертером» Гёте, что у него однажды мелькнула даже мысль развить эту тему с здоровой мужественной точки зрения: сохранился листок, на котором он набросал в нескольких строках план первой сцены для драмы «*Werther, der bessere*» — «Вертер более достойный уважения».

* Лессинг любил этого несчастного юношу.

Нет надобности доказывать, что Лессинг был прав в своем недовольстве тенденцией, отразившейся на «Вертере»; он верно предугадал, что роман этот будет иметь вредное влияние на молодежь, выставя в идеальном свете болезненное малодушие своего героя.

Не был доволен Лессинг и тем направлением, какое получила драма в период «бурных стремлений». Он внушал уважение к Шекспиру, — но молодежь, с обыкновенною своею склонностью доводить всякое чувство до крайностей, дошла в энтузиазме к Шекспиру до слепостей и старалась как можно ближе подражать даже тому, что вовсе не важно в Шекспире и, скорее, составляет его недостаток, нежели достоинство: эксцентричность выражений и другие особенности, объясняемые только вкусом века, в котором жил Шекспир, казались этим драматургам столько же драгоценными и необходимыми принадлежностями «гениальности», как действительные достоинства шекспировых драм. Тогда-то возникло понятие о качествах поэта и его произведений, известное нам по преданиям романтизма: только тот истинный поэт, кто растрепан, кто с пренебрежением смотрит на людей, ведущих себя благоприлично, кто старается каждою строкою своих произведений шокировать рассудительных людей. Это все называлось «гениальностью». Такие эксцентричные замашки сильно не нравились Лессингу, который смотрел на искусство, как древний грек.

Молодежь инстинктивно предчувствовала, что Лессинг не может сочувствовать ее односторонним излишествам, и если многие из новых деятелей литературы — например, Гердер и Лейзевиц — лично были в дружеских отношениях с Лессингом, то иные как-то чуждались его. Любопытное свидетельство последнего оставил Гёте о себе и своих лейпцигских друзьях в своей автобиографии. Весною 1768 года Лессинг приезжал в Лейпциг, — Гёте был тогда студентом Лейпцигского университета (ему было 19 лет). «Бог знает, что такое было у нас тогда в головс, — рассказывает он: — нам вздумалось не только не искать случая видеть Лессинга, напротив, избегать тех мест, где могли бы мы встретить его. Это временное дурачество, которое нередко находит на самолюбивых и капризных юношей, было впоследствии наказано тем, что я уже никогда не имел случая узнать в лицо этого великого и чрезвычайно уважаемого мною человека».

Радуюсь вообще пробуждению свежих и могучих сил, стремившихся вообще к целям, которые были также и его

целями, Лессинг замечал в деятельности главных людей молодого поколения и важные ошибки, от которых предвидел дурные следствия, — как то и исполнилось на деле возникновением романтической школы: Шлегели, Тик и проч. произошли из односторонностей, которым поддались Гёте, Гердер и их друзья. Почему же он не боролся против этих уклонений?

Борьба человека старого поколения против молодого поколения всегда бывает безуспешна, хотя бы этот человек и говорил правду. Исторические увлечения не могут быть побеждаемы в самом начале своем отвлеченными рассуждениями, — только тогда они отвергаются обществом, когда они принесут плоды, по которым испытает общество их ошибочность и вредность. С успехом начать борьбу против увлечений сентиментализма и фантазерства можно было только тогда, когда романтизм уже выказал, каковы последствия этих наклонностей, явившихся вначале идеально-прекрасными, возвышенными и очаровательными, — уже только в наши времена, а не в 1770-ых годах.

Чего невозможно сделать, за то и не принимался Лессинг. Дух века, все живые симпатии нации, все даровитые люди молодого поколения были бы против него, если б он начал борьбу против направления, которое наложило свою печать на «Вертера» и «Геца фон-Берлихингена». Напрасны были бы его усилия — а натура его была такова, что он не делал ничего напрасного. Не в его характере было бороться против нового, он по природе своей был расположен только готовить его. А когда оно было приготовлено его трудом, когда он видел своих воспитанников, которые были уже в силах осуществить его мысль, — он уже терял охоту наблюдать за тем, чтобы эта мысль была во всех подробностях исполнена именно так, как ему казалось лучше, — довольно того, что она исполняется — надобно же дать волю людям; нравственная ошека, предохраняя от ошибок, убивает и энергию и разум, если будет простирается далее, нежели надлежит ей по закону природы. В историческом развитии неизбежны увлечения и ошибки — кто хотел бы непременно воспрепятствовать им, воспрепятствовал бы вместе с ними всякое развитие, хотел бы убивать жизнь.

Натура Лессинга была такова, что работа становилась для него утомительна, как скоро он видел, что она может быть удовлетворительно исполнена другими, как скоро он чувствовал, что поставил вопрос в надлежащем свете и вызвал людей для его разрешения. Ему скучно стало

писать для «Литературных писем», когда его трудами были уже достаточно приготовлены люди, могшие продолжать это дело; и теперь, когда были приготовлены люди, могшие продолжать дело, начатое его драмами, «Лаокооном» и «Гамбургскою драматургиею», ему скучно стало писать драмы и заниматься литературною критикою. Эти занятия утомили его, опротивели ему — много раз он отказывался от всяких предложений вновь заняться при том или другом театре делом, которое столь блистательно исполнил при гамбургском национальном театре; после издания «Эмилии Галотти» он во всех письмах говорит, что потерял всякое расположение и всякую способность писать драмы и никогда уже ничего не думает писать в этом роде. Правда, через несколько лет написал еще драму, которая стоит выше всех прежних, которую немцы ставят выше всех произведений самого Гёте, кроме «Фауста», — но она была внушена ему мыслями, уже совершенно чуждыми любви к театру или желанию трудиться для искусства. У ней была другая цель.

Лессинг устал работать — но только для тех целей, достижение которых было теперь обеспечено. Не работать он не мог. Мы знаем, что такое называется в Северо-Американских Штатах колонистом «Дальнего Запада» — это человек, которому скучно жить и работать на тех заселенных полях, обработка которых стала уже доступна силам каждого; он уходит далеко за границы поселений, в неведомые пустыни, прокладывает дорогу среди болот и лесов, поселяется один среди диких зверей и враждебных диких людей, очищает землю от них и открывает для цивилизации обширные, обильные области. Сколько битв выдержал он, сколько лишений перенес он, сколько опасностей и затруднений преодолел он! Но вот безопасен стал занятый им округ, дает уже богатую жатву, — тогда, привлеченные молвою, приходят по проложенной им дороге толпы людей, селятся вокруг него, привольно работают, без всяких лишений, в безопасности начинают веселую и сладкую жизнь. И он мог бы наслаждаться всем, чем наслаждаются они, — именно ему больше всех и должно было бы наслаждаться, потому что все окружающее его благоденствие возникло благодаря его предприимчивости, мужеству и силе. Но нет, ему уже скучно и противно жить на этом привольном, безопасном, роскошном месте, — натура влечет туда, куда еще нет путей, где каждый шаг соединен с лишениями, опасностями и борьбою, — и он, по-

кидая спокойное село, опять идет в пустыню, дальше и дальше, прокладывая путь цивилизации...

Таков был Лессинг. Его трудами была открыта и очищена почва, на которой могла возникнуть богатая литература. Его дело было совершено в этой области. Он устремился к завоеванию новых областей для народной жизни.

Один период в истории немецкого развития был подготовлен и вызван к жизни его трудами. Он начал работать для приготовления следующего периода.

[...]

Результаты борьбы, веденной Лессингом в последние три года его жизни, были громадны. Она приготовила направление последующей немецкой философии, которая только в последнем периоде своего развития стала на ту высоту мысли, которая была указана ей Лессингом, но с самого начала была верна духу, проникавшему его сочинения, написанные по поводу «Вольфенбюттельской рукописи» и споров, ею возбужденных. По плану нашего очерка, имеющего главным предметом одну литературную сторону деятельности Лессинга, мы только в двух-трех словах коснемся отношения между Лессингом и последующими немецкими философами.

Прямым учеником его не был ни один из знаменитых философов, — все они считают своим родоначальником Канта; Фихте говорит, что его система — довершение системы Канта, Шеллинг был продолжателем Фихте, Гегель продолжателем Шеллинга, новая философия произошла из системы Гегеля. Но если мы сравним все эти системы между собою, то увидим, что дух их совершенно различен, — это потому, что у Фихте, Шеллинга и Гегеля были другие учителя, кроме Канта. Они сами признаются, что очень многим обязаны Гердеру и Гёте, под влиянием которых воспиталось их воззрение на мир, — через Гердера и Гёте имел на них влияние и Лессинг, который так могущественно господствовал над развитием Гердера и Гёте. Уж эта одна сторона его действия на них имеет чрезвычайную важность. Но еще гораздо сильнее было то влияние, которое имел он на развитие немецкой философии не посредством того или другого из воспитанных им знаменитых писателей, а силою направления, развитого им в умственной жизни всего народа, среди которого возникли эти философы. Часто, когда говорят об истории философии, имеют в виду только связь философских систем между собою, забывая о связи их с духом времени и общества, в котором они развились, а между тем это забыва-

емое отношение обнаруживало всегда самое решительное влияние на их характер. О философии, в которой общие стремления человечества находят самое прямое выражение, надобно сказать скорее, нежели о какой-нибудь частной науке, что она всегда бывает дочерью эпохи и нации, среди которой возникает.

Из многих сторон родства всех философских систем, возникших после Канта в Германии, с духом, проникавшим сочинения Лессинга, мы заметим только две, связь которых с характером мнений Лессинга особенно ясна будет после того, что имели мы случай сказать выше о его стремлениях.

До Лессинга немецкая философия вообще имела протестантский характер, даже в случаях, когда являлась враждебною христианству. После Лессинга, хотя по-прежнему все главные деятели ее принадлежали протестантской половине Германии, она становится в другое положение. Философское мировоззрение становится столь же независимо от одностороннего протестантского оттенка, как прежде было независимо от католического. Из достоинства протестантской половины Германии философия становится делом общенациональным.

При всем различии в своих принципах и выводах, все немецкие философские системы сходятся в том, что ни одна из них не имеет враждебности против христианства, какую отличались системы некоторых английских и французских философов. Каковы бы ни были понятия того или другого немецкого философа об общей системе мира, но каждый из них на религию смотрит с уважением, высоко ценя важность ее. Все они чужды того сурового ожесточения против религии, которое заметно, например, у Гоббеса, или той насмешки, которая видна у Вольтера. Все они смотрят на религию с серьезностью, полною уважения.

Эти две черты сходства уже достаточно показывают тесное родство последующей немецкой философии с теми стремлениями, которыми одушевлен был Лессинг в своей последней борьбе. Но вполне оценить гениальность его взгляда и силу его влияния может только тот, кто знаком с новейшими немецкими философскими системами, сменившими систему Гегеля⁷: они чрезвычайно близки к тем понятиям, какие были выражены Лессингом. Мы ограничиваемся этими немногими словами, потому что рассмотрение развития философии в Германии не составляет прямого предмета этой биографии; но тот, кто захотел бы

занияться отношениями Лессинга к последующим немецким философам, нашел бы гораздо более признаков его сильного влияния на их системы.

Впрочем, все это не составляет еще главного значения деятельности Лессинга в последние годы его жизни. Еще важнее, нежели влияние его на характер последующих философских систем, было то, что он приготовил ум своего народа для принятия философской мысли. До того времени философия была делом школы, которого чуждалось и пугалось общество, как чего-то не только таинственного, но и ужасного, — философские мысли, как скоро из тесного кружка записных ученых проникали до сведения людей, не имевших науки своею профессиею, были отвергаемы ими как что-то противное всем убеждениям их и всем условиям жизни. Через двадцать лет не так была принята обществом философия Фихте и потом Шеллинга, — напротив, общество встречало философские учения с живым сочувствием, они быстро распространялись в публике и переходили в ее убеждения. Эту перемену надобно отнести всего более к действию статей, написанных Лессингом в последние годы его жизни: они приучили немецкую публику к духу философского исследования.

От замечаний о развитии умственной жизни в Германии, обращаясь к прямому влиянию последнего периода деятельности Лессинга на общественную жизнь, надобно сказать, что оно было также решительно: с той поры начинается заметное и постоянное ослабление неприязни, существовавшей между католиками и протестантами. Главною причиною, поддерживавшею эту неприязнь, надобно считать презрение протестантов к католикам, как людям, зараженным грубейшими суевериями. До Лессинга едва ли кто из протестантов смотрел на особенности, которыми отличалось католичество от протестантизма, иначе как на невежественные предрассудки, унижительные для ума человеческого. Нововводители, последователи французских энциклопедистов и английских деистов, были в этом отношении не лучше, а может быть, даже хуже других протестантов. Лессинг стал говорить о католичестве беспристрастно, всегда с уважением, иногда с сочувствием. Это простиралось до того, что многие из его противников обвиняли его в измене лютеранству для католичества, а сам он, когда протестантские богословы ему грозили запрещением писать и юридическим осуждением его сочинений, был уверен, что если бы дело дошло до такой крайности, то он нашел бы защиту у католиков⁸, пе-

ренеся дело на решение Имперского совета, в котором католические члены станут на его стороне, когда он им объяснит, что осуждать его значило бы осуждать всех католиков. Пример, авторитет и доказательства Лессинга открыли глаза большинству образованных протестантов, и с того времени насмешки над католиками ослабевают, ослабевает и возбуждаемое ими нерасположение католиков к протестантам, и место неприязни занимает терпимость и взаимное уважение. Мало того: Лессинг развивал перед немцами воззрение, в котором должны сойтись, как братья, и католики и протестанты, и доказывал, что это воззрение, будучи одно достойно человека по своему благородству, в то же время одно только и должно считаться справедливым, потому что оно одно логично, оно одно внушается потребностями человеческой природы и одно может выдержать строгую научную критику. Эта сторона влияния, конечно, казалась самою важною и для Лессинга. Именно желание дать примирительное направление народной жизни и руководило Лессингом в выборе теологических вопросов предметом своей деятельности.

Но, будучи по преимуществу человеком жизни, почему не предпочел он вопросов, более близких к жизни, почему не писал юридических и политических сочинений? По той же самой причине, по которой не писал и чисто философских сочинений, потому, что умственная жизнь его нации не достигла еще в его время той зрелости, чтобы живо интересоваться этими вопросами. Лет двадцать прошло после его смерти до той поры, когда настал для Германии период философских интересов; еще позднее началась для нее пора юридических и гражданских стремлений.